

КРИЗИС КЛАССИЧЕСКОЙ ЭПИСТЕМОЛОГИИ И ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ ВАЛИДНОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Н. П. БУСЫГИНА



Статья посвящена горячо обсуждаемой проблеме — поиску собственно-го пути развития, ставшей актуальной в связи с кризисом классической науки, которая на протяжении XIX-XX веков являлась идеалом для психологии. Автор исследует различные варианты развития иной рациональности, предлагаемые философией постмодерна, и находит там много достойного внимания, полагая, однако, что великое достижение культуры модерна, от которого не следует отказываться, состоит в саморефлексии. Она делает выбор в пользу концепции коммуникативной рациональности в качестве нового идеала для психологии.

Ш. Тхостов характеризует суть объективизма науки как двойное — онтологическое и гносеологическое — исключение субъекта из научной картины мира. Постулирование первого — онтологического — исключения не вызывает у нас никаких возражений. Действительно, для того чтобы стать предметом классической науки, психическое должно быть редуцировано до неинтенциональной, непродуктивной и пассивной материальности: то, что исследуется, не может рассматриваться в качестве причины самого себя (*causa sui*), т.е. субъекта. Все, что происходит с объектом, должно рассматриваться как обусловленное внешней причиной, в противном случае, если мы не будем уверены, что объект не произвел изменение в силу собственной внутренней необходимости, мы не сможем установить причинную связь между действующим фактором и изменением объекта (2002).

Что же касается второго — гносеологического — исключения субъекта, то оно нам представляется весьма спорным. Тхостов говорит, что в науке реальность описывается как бы абсолютно «прозрачным» субъектом, который отражает мир таким, какой он существует в реальности: события происходят только в объективном мире, и «связь с субъектом протекает только в одном направлении: от стимула, непосредственно воспринимающегося субъектом и «проскакивающего» через порог субъективного, как если бы его не было вообще» (*там же*, с.12). Однако, на наш взгляд, с гносеологическим исключением субъекта из научной картины мира все обстоит не так просто. Дело в том, что научное исследование представляет собой не столько фиксацию эмпирических данных, сколько формы теоретизирования и гипотетического конструирования. С позиции классической науки объективная реальность не дается нам просто как повседневный слепок с нее, для ее постижения нужен особый — объективный — научный метод. В результате применения научного метода мы получаем не преходящее мнение, но истинное знание — знание сути вещей, которая неизменна и от-

ражением которой является научный закон, имеющий статус всеобщности и необходимости. Именно о получении такого знания в психологии «галилеевского» типа говорит К. Левин (1990). В отличие от «аристотелевской» науки, мыслящей закономерность как частоту и регулярность, галилеевская наука ориентирована на раскрытие закономерности в чистом виде, а такая закономерность может быть получена лишь путем оперирования идеальными конструкциями. Впрочем, согласно К. Левину, основная часть психологии по-прежнему развивается в рамках уже давно преодоленных в физике аристотелевских методологических допущений и стремится не к открытию законов, а лишь к обнаружению статистических закономерностей.

Король классической науки — эксперимент. Именно эксперимент связан со всей методологией и даже своеобразной «идеологией» новоевропейского естествознания (Пузырей, 1986). И именно эксперимент позволяет нам получить истинное знание неизменной сути вещей. Но что такое эксперимент и какова его суть?

Основная черта эксперимента — исследование идеального объекта. В эксперименте мы никогда не исследуем реальные объекты. Реальный объект как бы изготавливается в процедуре эксперимента в соответствии с запечатленным в модели представлением об идеальном объекте изучения; эксперимент — это процедура, с помощью которой предпринимается попытка реализации, т.е. воплощения в реальности идеальных объектных представлений (*там же*).

Л.С. Выготский очень точно обозначает эксперимент как «ловушку для природы» (2003). В работе «Исторический смысл психологического кризиса» Выготский, говоря об индуктивно-аналитической логике научных исследований, подчеркивает, что в эмпирической науке мы имеем дело не просто с индукцией как обобщением частных опытных данных, но еще и с анализом и абстрагированием, т.е. с идеализацией, выделением некой фундаментальной абстракции, которая и составляет суть изучаемого. Например, реально И.П. Павлов изучает слюноотделение у собак, но в действительности его интересует не слюноотделение, а условный рефлекс как единица ВНД, за конкретными данными он улавливает главную абстракцию, которая и составляет предмет его научных чаяний. Точно так же сам Выготский за конкретными баснями и рассказами улавливает эстетическую реакцию как сущность психологии искусства.

В процессе экспериментирования происходит такое воздействие на естественные процессы, которые позволяют препарировать явления, обнажить их скрытые механизмы. Создаются такие искусственные условия, в которых факты не столько описываются, сколько производятся, конструируются (Лекторский, 2001). Реальный эксперимент невозможен без идеального, т.е. такого, в котором идет оперирование идеальными конструкциями и в котором исследуемое явление может быть выделено в чистом виде. Реальный эксперимент подгоняется к идеальному, причем чем ближе он к нему подходит, тем выше валидность исследования. Таким образом, в самом оперировании идеальными конструкциями содержатся в потенции те эмпирические феномены, которые будут получены в результате реального эксперимента. Но тогда получается, что в процессе применения научного метода по большому счету мы познаем лишь то, что сами создали, сконструировали, — именно в этом смысле виднейший отечественный методолог науки В.А. Лекторский говорит о проектно-конструктивной ус-

тановке как одной из важнейших предпосылок научного опыта. Проектно-конструктивная установка имеет прямое отношение к новоевропейскому мировоззрению с его антропоцентристскими приоритетами, идеалами овладения, господства, подчинения, — мировоззрению, в настоящее время подвергающемуся серьезной критике.

Именно проектно-конструктивный характер научного исследования не позволяет, на наш взгляд, говорить о гносеологическом исключении субъекта из научного познания. Скорее, мы можем говорить об абсолютном господстве в научном познании субъекта, хотя при этом имеется в виду такая его деятельность, в результате которой мы получаем знание, соответствующее корреспондентным критериям истины — абсолютное знание об объективной реальности, как она есть.

Размышления Тхостова о гносеологическом исключении субъекта из процесса научного познания, видимо, исходят из определенного образа науки, характерного для классического позитивизма — позиции, в исследованиях науки в целом уже преодоленной. По крайней мере, преодоленным можно считать позитивистский постулат о первичности эмпирических фактов, из которых посредством рациональной индукции выводятся теории. Существует мнение, что позитивизм — результат неадекватного обобщения опыта естественных наук (Юревич, 2001). Психология же по-прежнему продолжает ориентироваться на позитивистскую мифологию естественной науки, так что можно даже сказать, что «физика для психологов» значительно отличается от «физики для физиков». В свою очередь подобная ориентация порождает в психологии культ математики и манию исчисления корреляций. А.В. Юревич предлагает остроумный мысленный эксперимент, позволяющий оценить истинный смысл того, что происходит в психологии (2001). Представим себе, что бы произошло, если бы, скажем, Ньютон попытался открыть закон всемирного тяготения принятым в психологии способом — путем исчисления корреляций. «Реальные яблоки никоим образом не являются ньютоновскими. Они обычно падают, когда дует ветер», — говорит Поппер. И тогда, когда кто-то трясет яблоню, — добавляет Юревич. Именно эти два фактора, наверняка, оказались бы наиболее значительно коррелирующими с падением яблок, и Ньютону пришлось бы объяснить это явление силой ветра и силой человека, а не силой земного притяжения. «На любое событие влияет практически неограниченное количество факторов, и для выявления общих закономерностей необходим не их перебор, а прямо противоположное — абстрагирование от всех связей, кроме одной, т.е. тот самый прием, который в естественных науках известен как идеализация» (*там же*, с.5).

Позитивизм можно отнести к одной из двух выделенных К. Джердженом концепций знания, имевших место в западной традиции, а именно к «экзогенной» концепции. Она восходит к эмпирико-сенсуалистической философии Локка, Юма, Милла и полагает источником знания реальный мир. Альтернативная — «эндогенная» — концепция знания, опирающаяся на рационализм Декарта, Спинозы, Канта, а также на оригинальное философствование Ф. Ницше, утверждает, что знание обусловлено внутренними процессами субъекта. В психологии Джерджен отождествляет экзогенную концепцию с бихевиоризмом, а эндогенную — с когнитивизмом, считая, что в целом XX век продемонстрировал «когнитивную революцию», поскольку совершился переход от экзогенной

к эндогенной концепции. В этом переходе особо подчеркивается роль К. Левина (*Джерджен, 1995а*).

Следует сказать, что выделяемые Джердженом экзогенная и эндогенная концепции знания являются аспектами традиционного новоевропейского представления о знании как ментальной копии объективного мира и как следствия индивидуальных когнитивных усилий познающего субъекта. Причем, несмотря на всю их разницу, и эмпиризм, и рационализм исходят из единого основополагающего принципа классического субъекта, согласно которому мыслящий индивид постигает фундаментальные характеристики мира «как есть», выделяя рационально очевидные образования в составе внутреннего опыта, поскольку есть внутренняя интимнейшая связь между миром идей и миром вещей. Иными словами, в традиционной новоевропейской концепции знания объективность познания мира возможна лишь через субъективное усилие рефлексивного постижения идей этого мира индивидуальным сознанием.

Методология науки XX века отмечена двумя важнейшими тесно связанными друг с другом особенностями. Во-первых, в методологии науки мы наблюдаем кризис объективистских представлений об истине. Как говорит Д. Полкинхорн, вся методология XX века — это история постепенного разрушения мифа о возможности получения объективной истины путем научных изысканий (*Polkinghorne, 1989*). Все эмпирические методы трансформируют феномены в удобные для анализа данные путем определенной «фильтрации» их через понятийные экраны, имплицитно присущие самим методам. «Даже если некоторая понятийная система является отражением реальности, как понятийная система (т.е. по своей природе), она представляет собой отбор реальности, а потому выполняет функцию отклонения от реальности» (*Burke, 1966, p. 45*). Иными словами, даже самое «объективное» описание — лишь определенная версия мира, препятствующая иным точкам зрения. Нет никаких оснований приписывать статус объективности тем или иным формам описания. И квантификация в этом смысле не является исключением (хотя институционально поддерживается мнение, что именно она выступает в качестве индикатора научности). Кроме того, борьба за «объективность данных» возможна лишь тогда, когда имеет место культурный процесс создания термина («объективности»), породивший ранее не существовавшее поле, внутри которого именно противопоставление объективного/необъективного организует человеческие действия по отношению к реальности.

И, во-вторых, в методологии науки постепенно преодолевается позиция классического субъекта, в своем индивидуальном познании воссоздающего мир на основе неких трансцендентальных категорий. Научное знание существует не только как объективированное значение, оно не только повествует о том, как существует мир, но и повествует об этом определенным образом — так, что оказывается доступным пониманию для членов сообщества. Р. Рорти приводит крайний случай: «Даже если бы мы могли предсказать, какие звуки будет издавать сообщество исследователей в 4000-м году, мы все же были бы не в состоянии участвовать в их разговоре» (*цит. по: Хабермас, 2001, с.38*). Вот эта возможность соучастия в разговоре указывает на важнейший модус языкового употребления, который Ю. Хабермас называет перформативным. Мы можем говорить о том, что имеет или не имеет места в мире, — и тогда мы находимся в объективирую-

щей языковой установке, т.е. не участвуем в коммуникации (ни реальной, ни воображаемой), мы просто говорим или думаем, что имеет место «Р». Однако любое сообщество существует через осуществление коммуникативных процессов: мы не просто говорим что-то о чем-то, но всегда говорим что-нибудь кому-нибудь другому, так что последний понимает то, что говорится, т.е. находясь в сообществе и осуществляя определенную деятельность, мы принимаем участие в коммуникативном процессе — говорим так, чтобы нас поняли, и сами понимаем то, что говорится (*там же*)..

Итак, научное знание всегда имеет отношение к перформативному модусу языкового употребления и существует в процессе коммуникации (даже если мы считаем, как это свойственно фундаменталистски настроенным представителям естественных наук, что мы имеем дело только с фактами, избежать признания интерпретативных усилий исследователей хотя бы на метатеоретическом уровне нам не удастся).

Кризис объективизма и универсализма новоевропейской концепции знания наиболее полное воплощение получил в постулатах социального конструктивизма — движения, ставшего весьма популярным в методологии науки в 70-80-е годы XX века. Представители этого движения придерживаются, как правило, очень радикальных взглядов на науку. Можно даже сказать, что социальный конструктивизм являет собой своеобразный итог реляционных тенденций в дискуссиях о природе научного знания. Основанием для него послужило постмодернистское мировоззрение.

Постмодернизм — достаточно обширное интеллектуальное течение. Для нас сейчас важно, что с точки зрения постмодернистской эпистемологии мы не можем говорить о неких универсальных формах человеческого познания; на смену идеалам-универсалиям культуры должны прийти нормы коммунального общежития многообразных культур, каждая из которых обладает собственными «идеалами», но относится к ним иронически, осознавая их временность и относительность, используя их, как используют правила игры, без которых играть невозможно, но вне этой игры не имеющие самоценного смысла. С точки зрения довольно радикального постмодернизма, наука исчерпывает свои притязания на мировоззренческую роль в культуре и становится лишь одной из «языковых игр», далеко не самой важной. То, что мы называем наукой, подчиняется определенным синтаксическим и риторическим правилам; как говорит Р. Рорти, это лишь определенный тип словаря, изобретенный для наших меняющихся прагматических целей. Д. Полкинхорн показывает, что темы и проблемы, составляющие содержание исследований науки, обусловлены определенным типом исторически складывающегося «разговора» о природе знания (*Polkinghorne, 1989*). В духе Полкинхорна можно сказать, что интерес к тому, что есть наука, актуален лишь в пределах определенного «разговора», которому Полкинхорн дает название «эпистемологического». Начало ему было положено Новым временем и особенно эпохой Просвещения (эпохой модерна). Основная тема «эпистемологического разговора» — проблема объективности знания и возможности его получения путем научных изысканий, именно она была в центре методологических дебатов на протяжении практически всего XX века. Сейчас, согласно Полкинхорну, на смену эпистемологическому (модернистскому) приходит эпистемический (постмодернистский) разговор. Одним из основных особенностей

последнего становится упор на локальный контекст, на социальные и лингвистические конструкции обозримой реальности, где знания проверяются практикой (*там же*). Принципиальным для постмодернистского разговора о природе знания является лингвистический поворот («лингвистическая тюрьма», в которую загнал нас Витгенштейн, — Д. Деннет), понимание того, что язык конституирует реальность. Можно сказать, что неким регулятивным идеалом, вокруг которого концентрируется эпистемологический разговор, является Истина; регулятивный идеал эпистемического разговора — Метафора (Юлина, 1997): исследование познания превращается в описание смены метафор, и история аргументации освобождает место истории соблазнов.

Для социальных конструктивистов, мыслящих, как уже было сказано, в рамках постмодернистского мировоззрения, научные факты не более чем социальные конструкции, созданные практикой и взаимодействием ученых и не имеющие самостоятельного значения вне этой деятельности. В социально-конструктивистских исследованиях науки широко используется анализ текстообразования. Его цель — понять, при помощи каких речевых актов конструируется научная истина, как идет процесс коллективного производства знания в коммуникативных практиках. В работах таких известных авторов, как Б. Латур, Дж. Гилберт и М. Малкей, Р. Харре и др. описывается риторика и связанный с ней набор условностей повествования, принятый в научном сообществе, например, те грамматические особенности, которые создают претензии на фактическую точность и достоверность.

Приведем два показательных примера социально-конструктивистских работ, посвященных способам производства научной истины средствами языка. Заметим сразу, что письмо авторов, на которых мы будем ссылаться, отличается блестящим остроумием; кроме того, подмеченные ими особенности из повседневной практики тех, кто привык идентифицировать себя с научным сообществом, настолько узнаваемы, что не удивителен тот интерес, который возник к социальному конструктивизму в интеллектуальной среде.

В научном сообществе, пишет Р. Харре, есть правило позиционировать себя в качестве последователей логики, соответственно, отчет о любом исследовании принимает общую для всех повествовательную форму, героями которой являются «славные ребята»: вначале выдвигается гипотеза, причем гипотеза никогда не преподносится как результат творческого гения, но всегда окружена защитным барьером из цитат, натасканных из опубликованных историй других славных ребят (отсюда — цитировать нужно тех, кому в сообществе особо доверяют); далее идет описание заслуживающих доверия методик и технических приемов, после чего переходят к описанию результатов, — причем описываться все должно таким образом, чтобы читающие думали, что вся эта практическая деятельность была совершена только для того, чтобы проверить гипотезу; наконец, в последней части результаты рассматриваются в качестве индуктивного подтверждения гипотезы. Безусловно, все подобные описания — чистой воды вымысел, и это понимает каждый, кто хоть раз проводил научное исследование. Однако на бумаге все должно быть именно так: все прошло хорошо, все вопросы были правильно поняты, ответы должным образом зафиксированы, «ни один подопытный экземпляр не заболел, не сбежал и не умер в неподходящий момент». Как пишет Харре, «если бы кто-то попытался опубликовать отчет, более

верно отражающий жизнь науки, в которой гипотезы отбрасываются из-за недостатка средств, аппаратура не может работать так, как этого требуют параметры задуманного эксперимента и т.д., такой отчет не был бы принят к публикации. Периодические издания не печатают неубедительных работ. Редко публикуются статьи, полностью посвященные доказательству неправильности гипотез. Наука должна делать «хорошую мину» как для себя, так и для окружающего мира. Изображение автора (авторов) как славного парня подкрепляется вступительной частью работы, посвященной рассказу об ошибках и заблуждениях его предшественников и соперников» (1992, с.52). Методология науки, описывающая правила научного исследования, описывает не когнитивную и не материальную деятельность научного сообщества. Она описывает риторику и связанный с ней набор условностей повествования, чтобы получился рассказ, где одни соперничающие группы выглядят как герои, другие — как злодеи. Описывая такие условности, методология касается самого морального ордена научного сообщества. В конце концов, «поиск истины с эпистемической точки зрения безнадежен, но попытка жить добродетельной жизнью в рамках, установленных Правил, — возможная моральная амбиция» (там же, с.57).

В том же ироничном духе Дж. Гилберт и М. Малкей говорят о двух различных способах описания и соответственно восприятия одних и тех же ситуаций учеными, которые авторы называют «эмпирическим» и «условным» репертуарами (Гилберт, Малкей, 1987). Гилберт и Малкей дают остроумные примеры этих репертуаров, показывая, что пишется в научных текстах («эмпирический» репертуар) и что при этом имеется в виду («условный» репертуар).

Что пишется	Что имеется в виду
Давно известно, что...	Я не удосужился записать точными ссылками
Хотя не оказалось возможным найти точные ответы на поставленные вопросы...	Эксперимент провалился, но я считаю, что, по крайней мере, смогу выжать из него публикацию
Три образца были отобраны для детального изучения...	Результаты, полученные на других образцах, не давали никакой почвы для выводов и прогнозирования
Имеет большое теоретическое и практическое значение...	Интересно для меня
Утверждается, представляется, считается, что...	Я считаю
Общепринято, что...	Еще двое отличных ребят думают точно так же
Наиболее надежными следует считать результаты, полученные Джонсом...	Он был моим аспирантом

Конечно, мы можем встать на постмодернистскую точку зрения и иронично относиться к принятым правилам, будучи уверенными, что они лишь выдумка и когда-нибудь их обязательно сменят новые. Мы можем сами придумать правила и пытаться, не без иронии, естественно, проводить их в жизнь сообщества. Если познание основано на метафорах, то научное сообщество в идеале становится чем-то вроде «светского салона, где утонченные и благополучные интеллектуалы ведут ни к чему не обязывающую языковую игру, причем

каждый игрок играет по своим правилам и озабочен только желанием завлечь, соблазнить, очаровать присутствующих своей игрой и своей интересной историей» (Юлина, 1997, с.219). Казалось бы, постмодернисты достигают своей цели — освобождения индивидуума от любых форм насилия. Но ведь игра, основанная на метафоре, несет за собой самодостаточные мнения. В ней нет момента самокоррекции, а без самокорректирующих механизмов любой идее грозит опасность превратиться в сугубо идеологическое построение и произвол. Великий рационалист Поппер говорил, что невозможно предоставить рациональные аргументы в пользу основы рациональности — веры в разум; однако для него именно разум был тем, что позволяет противостоять сюрреалистическому миру фашистского террора. Постмодернистская критика, показавшая, сколь агрессивна в своей сути рациональность модернистского толка, не позволяет вернуться к трансцендентальному Субъекту Просвещения. Однако великая игра модерна, основой которой является внутреннее движение самокритики, далеко не исчерпала себя и, может быть, до сих пор остается для культуры лучшим выбором.

Безусловно, радикальный постмодернизм с его ирреализмом, релятивизмом и антитеоретизмом не мог стать (и, разумеется, не стал) доминантой мышления представителей научного сообщества, однако именно он побудил их к тому, чтобы начать заново продумывать собственные предпосылки и основания, а также искать новые аргументы и позиции для сохранения западной рациональной традиции. На наш взгляд, и это мы попытались раскрыть в другой нашей работе (Бусыгина, 2005), разрабатываемый сегодня проект «коммуникативной рациональности», ориентируясь на необходимость для процессов познания механизмов самокоррекции, вместе с тем преодолевает то, что явилось предметом критики постмодернистов, — агрессивный универсализм классического субъекта.

Вернемся, однако, к тому, что для современной методологии науки характерны попытки преодоления методологического индивидуализма классической традиции и внимание к коммуникативным аспектам возникновения и развития того или иного типа научного знания. Ориентирующееся на радикальный постмодернизм социально-конструктивистское движение, обращаясь к коммуникативным практикам производства знания, впадает в крайность. Излишний акцент на «языковых играх», свойственный социальному конструктивизму, предполагает такое понимание языка, при котором его формативным и риторическим аспектам придается значительно большее значение, чем репрезентационным и референциальным. Социальный конструктивизм не принимает во внимание структуры «форм жизни», лежащие в основе любой символической конструкции, выстроенной наподобие языка, — в лучшем случае, они воспринимаются как само собой разумеющиеся, но не подвергаются анализу. Языку и употреблению грамматических выражений придается первостепенное значение, в результате чего любая языковая деятельность превращается в подобие литературы, хотя и понятно при этом, что в опыте людей (в том числе и в опыте научных исследований) есть нечто иное, чем только игра слов.

Вместе с тем, хотя подчас и в излишне радикальной форме, социальный конструктивизм «схватил» важнейшее обстоятельство, а именно что «истины» науки нельзя понимать лишь как отражение объективного мира, воссоздаваемого познающим субъектом на основе универсальных категорий и логических

принципов, большую роль в их «производстве» играют социальные моменты, являющиеся результатом совместной деятельности людей. На смену объективистских критериев истины стали приходиться коммуникативный и прагматический критерии (истина как результат коммуникативного договора и истина как практическая эффективность), а универсальный классический субъект уступил место субъекту социальному, точнее, исторически обусловленному коллективу субъектов.

Надо сказать, что именно последнее обстоятельство стало в 90-е годы предметом для критики в адрес социально-конструктивистских воззрений: то, что мы имеем в случае социального конструктивизма — не более чем ловкий трюк, ведь выход на сцену вместо классического субъекта коллектива субъектов означает продолжение все того же диктата субъекта, хоть и социального, укорененного в общественном мире (Столярова, 2003). В последнее время популярность приобретают так называемые симметрические подходы, в которых факт рассматривается как событие, характеризующееся комбинацией усилий субъекта и объекта (S и O в познавательном смысле). Акцент переносится на ситуацию встречи, когда два компонента взаимно направляют друг друга. Например, известный в 70-80-е годы своими конструктивистскими воззрениями Б. Латур в 90-е пересмотрел свой взгляд, создав интересный проект реляционной онтологии, — своеобразный диалектический возврат к докантовским временам, когда в центре внимания было бытие, а не то, как это бытие познается человеческим субъектом. Латур говорит о коммуникативной сети; S и O — результат приобретенной сетевой позиции, поэтому можно говорить лишь о квазисубъектах и квазиобъектах, о сущностях-гибридах (*там же*).

Однако, как бы мы ни подошли к научным фактам — с позиций социального конструктивизма, симметрических подходов или как-то еще, — в настоящий момент для нас важно, что в определение истинности утверждений теперь включается диалог между теми, кто волен принимать решения. Истина принимается людьми на основе некоего соглашения; в понимании истины происходит сдвиг от наблюдения к коммуникации и действию, от конфронтации с сырой материальностью — к процессам взаимодействия между людьми, от индивидуального сознания — к разделяемому сообществом людей «горизонту значений», включенному в структуры «жизненного мира», от поисков соответствия объективной реальности — к консенсусу по поводу смысла. Что есть валидное исследование, решается в процессе дискурса.

Для социальных и гуманитарных наук в целом и в частности для психологии такое дискурсивное измерение истины имеет особое значение в силу целого ряда особенностей, связанных с самим предметом их изучения. Во-первых, социально-гуманитарное знание условно можно обозначить как герменевтическое, поскольку ему приходится раскрывать доступ к своей предметной области посредством понимания того, что говорится, — гуманитарии вынуждены заниматься проблемами интерпретации не только на метатеоретическом уровне, но и уже на стадии наработки данных; это требует, во-вторых, не просто наблюдения, но участия, когда мы не просто придаем значения наблюдаемым вещам, но должны эксплицировать уже данные значения, т.е. в отличие от естественных наук, которые замещают дотеоретическое знание верным теоретическим, гуманитарные и социальные науки это дотеоретическое знание эксплицируют, вы-

водят наружу; в третьих, следствием подобной опоры на дотеоретическое знание является ограниченность социального познания историческими рамками, как говорит К. Джерджен, социальная психология является, по существу, историей, поскольку фиксирует не универсальные, а лишь прочно привязанные к историческим обстоятельствам закономерности поведения (*Джерджен, 1995б*); и, наконец, в-четвертых (и это еще одно следствие опоры социально-гуманитарных наук на дотеоретическое знание), применительно к социально-гуманитарному познанию всегда стоит проблема соотношения собственно теоретического и дотеоретического знаний, которая нередко озвучивается как проблема «двойной герменевтики» (*Giddens, 1976*).

Остановлюсь подробнее на последней особенности социально-гуманитарного знания. Трудность соотношения теоретических и дотеоретических представлений можно свести к тому, что теоретические рамки, в которых проводится эмпирический анализ повседневного образа действий, должны быть концептуально связаны с относителными рамками, в которых повседневность интерпретируется самими участниками. В западной методологии психологии существует влиятельная тенденция, характеризующаяся снятием проблемы теоретического/дотеоретического путем нивелирования опоры на дотеоретическое. Повседневный язык и повседневные интерпретации становятся предметом *folk psychology*, в то время как лишь нейропсихология объявляется собственно наукой (*см., напр., Stich, 1983*). Другой путь разрешения проблемы теоретического / дотеоретического — отказ от собственно теоретического знания и любых претензий на его объясняющую способность. Как рекомендует Р. Рорти, мы должны проповедовать абсолютный теоретический релятивизм и соотносить социальные науки с литературной критикой, поэзией, религией и даже просто с разговором образованных людей; в психологии подобного взгляда придерживаются некоторые гуманистические психологи. Наконец, третья возможность для исследователей в области социально-гуманитарных наук — не уподобляя социально-гуманитарное знание образцу строго номологической науки, тем не менее, разрабатывать теоретическое знание, будучи включенными в дотеоретический коммуникативный контекст. В последнем случае перед нами будет стоять задача найти конкретные рациональные предпосылки, исходя из которых, мы сможем производить оценку компетентности высказываемых утверждений.

Опираясь на теорию истины как рационально мотивированного консенсуса Ю. Хабермаса, Д. Полкинхорн выделяет четыре возможных пути к знанию, которые могут быть полезны для оценки научных суждений (*1983*). Коротко остановимся на каждом из них, попробовав продемонстрировать, опираясь на размышления не только Полкинхорна, но и других авторов, как выделенные им пути к знанию обогащают наш словарь для решения проблемы валидности в психологии и социально-гуманитарных науках в целом.

Общечеловеческая разумность. Можно говорить о присущих всем людям способностях к когнитивной оценке, визуализации, восприятию структурных связей, а также о способности к языковой коммуникации. Эти универсальные способности составляют фундаментальную основу, от которой мы можем отталкиваться при оценке относительной валидности суждений. Безусловно, выделить четкие критерии разумности действия или суждения не так-то просто, например, подчас нелегко определить, где граница между разумными формами

контроля и бюрократическими «пунктиками» и правилами. Но «нелегко определить» — в смысле «нелегко дать теоретическое определение», нелегко эксплицировать правила, которым следуешь на практике. Что же касается реальной жизни, многие из нас вполне способны отличать смысл от бессмыслицы и, более того, регулярно делают это.

Итак, человеческая разумность — то, на что можно опираться при установлении коллективных стандартов для оценки ценности получаемого в результате психологических исследований знания. Однако сегодня, после работ представителей немецкой критической философии, а также А. Альюссера, М. Фуко и др. невозможно некритично относиться к разуму: то, что мы считаем само собой разумеющимися разумными практиками, может рационализировать доминанцию одних над другими, подавляя все маргинальное и иное. Фуко показал, что «истина» имеет непосредственное отношение к функционированию «режимов власти», при этом речь идет о типе власти, основанной на контроле над самими понятиями, на которых строятся дискурсы об идентичности и субъективности и развивается психология личности (Фуко, 1996). Власть дает индивидам место и наделяет их субъективностью в качестве акторов внутри дискурса.

Согласно Фуко, науки о человеке выступают мощным средством дисциплинарной власти. Как говорит М. Фуко, микровласть в ее вездесущности конституирует тела как тела желающие, склонные к чему-то и не склонные к другому, тела, выбирающие ориентацию, установку (1996, 1999). Психологические знания в этом контексте становятся своеобразными регулятивами, задающими научно выверенные нормативные рамки; говоря несколько огрубленно, они выполняют социальный заказ, становясь частью «знания-власти», нормализующей и дисциплинирующей человеческую субъективность. Кроме того, психология использует критически непродуманную рамку понимания, которая имплицитно отражает частную точку зрения доминантных социальных групп и, соответственно, служит их интересам, упрочивая характерные для общества стандарты и категории, используемые для интерпретации человеческих действий, предлагая их якобы «объективные» научные объяснения и тем самым не давая возможности подвергнуть эти категории критическому исследованию. Продвигая интересы частных социальных групп, психология при этом действует таким образом, как если бы ее голос был голосом нейтральной рефлексивной рациональности и поиска истины (Sampson, 1993).

Однако если власть глубоко укоренена в психологии, в самих способах, посредством которых конституируются идентичности, некоторые группы получают статус доминирования самим актом называния себя. Они не могут вступить в коммуникацию, не утверждая собственной доминантной позиции. Более того, как показывают многочисленные феминистские, этнопсихологические, а также гей-исследования (Flax, 1990; Riger, 1992; Tavris, 1992; Schwartz, White & Lutz, 1992; и др.), просто получить право говорить отнюдь не означает продвигать собственные групповые интересы, точку зрения или свою уникальность в процессе истинного диалога: власть диктует язык, в который может облекаться психологическая и социальная реальность. Соответственно, чтобы быть услышанным/ой, я должен/должна говорить на языке, который от меня требуют, т.е. оставаться замкнутым/ой внутри дискурсивной игры, поддерживающей чье-то превосходство. Но тогда получается, что люди в принципе не могут выйти на уровень

истинного диалога и взаимопонимания. Однако, на наш взгляд, это не так. Мы полагаем, что любые повседневные практики имплицитно содержат в себе выход в рефлексивную метапозицию. Рефлексивность — интегративная часть нашей обычной коммуникативной деятельности, способная ее перестраивать. Разумеется, мы не можем полностью отрефлексировать тот культурный фон, в который мы погружены, но нам вполне доступна «точечная» интерпретация его отдельных сторон и фрагментов. Как справедливо замечает Ю. Хабермас, полемизируя с Фуко и постструктуралистами, радикальная критика разума непродуктивна в силу того, что оставляет без внимания нормативные структуры, позволяющие дифференцировать то, что ведет к свободе, от того, что ее лишает (2003). Здесь нам бы не хотелось вдаваться в критический анализ генеалогического проекта М. Фуко и полемики с ним со стороны Ю. Хабермаса. Заметим лишь, что Фуко делает нас более чувствительными к тем опасностям, которые могут таить в себе усвоенные схемы мысли и действия, которые мы привыкли считать своей «разумной природой».

Если же мы примем тезис Хабермаса о том, что существует огромная разница между открытыми критическими дискуссиями и авторитарной манипуляцией процессом принятия решений, то для гарантии значимости получаемого нами в результате проводимых нами исследований знания нам необходимо ставить под вопрос саму организацию социальной матрицы, обуславливающую процедуры познания. Систематические искажения социальной матрицы, в рамках которой имеет место дискуссия (например, то игнорирование голоса определенных категорий или групп людей, о котором мы говорили выше), имеют своим результатом искажение валидности полученного знания. Человеческая разумность — это то, на что мы действительно можем опираться при установлении коллективных стандартов для оценки ценности знания. Но сама разумность всегда естественно опирается на социальный контекст, а кое-что из этого контекста есть результат социальной динамики, нарушающей процесс познания и приводящей к неразумным результатам. Соответственно валидность требует рефлексии по поводу культурного контекста исследования и собственных ценностей исследователя, а также внимания к потенциальным систематическим искажениям коммуникации в области исследования.

Метод проб и ошибок. «С точки зрения прагматиков, когда мы совершаем действия на основе знания, эффективность нашего знания определяется эффективностью наших действий» (Polkinghorne, 1983, p.249). Как утверждают некоторые авторы, в области гуманитарных исследований суждения могут быть приняты в той мере, в какой они могут быть применены сообществом для понимания того или иного явления. При этом чтобы суждение имело ценность для сообщества, нет необходимости, чтобы оно было фактически правильным (истинным). Если частное понимание провоцирует действие, имеющее желаемый эффект, оно может временно обрести статус факта (см., напр., Salner, 1989).

Для валидности гуманитарных исследований имеет значение тесная связь между поиском на основе проб и ошибок и поиском удовлетворительного жизненного пути. Беллах с соавторами показывает, что исследования в области социальных и гуманитарных наук есть общественная философия (Bellah et al., 1985). Социальный исследователь должен принимать участие в более широких дискуссиях по поводу пользы и ценности своих исследований и обращать при-

стальное внимание на форму и структуру общества в целом, а не только на отдельные его стороны, соответствующие его узкой профессиональной специализации. Чтобы исследование было валидным, исследователю нужно показывать значение своей позиции внутри социума и сознавать свою роль внутри продолжающегося повествования и дискуссий, формирующих социальную матрицу (*Edwards, Potter, 1992; Salner, 1989*).

В отличие от данного нам мира естественных наук, социальный мир мы в каком-то смысле всегда сами создаем. Безусловно, каждый из нас появляется в мире уже существующих символических структур — мы не придумываем его заново. Но ведь символические структуры — не лакановская абстракция, они существуют только в виде постоянного воспроизводства в рамках реальных отношений между людьми и могут меняться (хотя и медленно) посредством изменения этих отношений. Можно сказать, мы живем между структурой и перформансом. Психолог, как любой социальный исследователь, всегда включен в производство и воспроизводство циркулирующих в обществе дискурсов. Психологическое исследование в принципе не может быть ценностно нейтральным и принимается за истинное в той мере, в какой оно по-человечески полезно для достижения успешного действия.

Однако когда мы говорим о практической полезности знания в психологии, мы нередко слишком сужаем само понятие практики, понимая под нею лишь узко профессиональную практику психолога. Помимо того, что исследование должно иметь непосредственную пользу для практиков, нуждающихся в поддержке со стороны науки, для того чтобы более успешно справляться со своими профессиональными задачами, оно может (и должно) обладать «культурной полезностью». Коль скоро мы живем в мире, которому свойственно глубокое осознание многообразия культурных и жизненных миров, задача психолога — не столько предложить универсальные абстракции, которым придается онтологический статус (например, ответить на вопрос, что такое свобода, присоединившись тем самым к голосу «законодательного разума»), сколько наиболее полно очертить семантическое пространство возможных смыслов (понять, что такое свобода для тех или иных людей). В конечном счете, в мире культурного многообразия психология действительно призвана помогать людям лучше понимать друг друга и быть более терпимыми к различиям, а также способствовать улучшению самопонимания как отдельных людей, так и общества в целом. «Интеллектуалы в демократическом обществе формируют сообщество культурных критиков. К сожалению, психологи очень редко видели себя в такой роли, поскольку их образ Я, по большей части, — это образ представителя позитивистского естествознания» (*Bruner, 1990, p.49*). Психологи должны практиковать критическую рефлексию в контексте институтов, непосредственно не относящихся к их профессиональной деятельности; например, они должны принимать участие в обсуждении этических вопросов, выходящих за рамки профессиональной политики (*там же*).

Молчаливое знание. И исследователи, и исследуемые являются участниками общего коммунального бытия. Такая включенность в структуры разделяемого друг с другом «жизненного мира» требует хотя бы минимального эпистемологического осмысления (*Salner, 1989*). И в обыденной, и в профессиональной жизни мы обладаем большим количеством практического знания, лишь нич-

тожную часть которого способны четко выразить словами. Мы знаем гораздо больше, чем можем об этом сказать. «Молчаливое» (*tacit*) знание — «знание на кончиках пальцев», «на острие взгляда», — знание, принципиально не артикулируемое в языке, позволяет описать тот аспект знания, который присущ нам как существующим совместно человеческим индивидам в мире повседневности. Доступ к молчаливому знанию происходит через непосредственный опыт, а не рационально через разум, хотя то и другое тесно связаны. Если мы опираемся на молчаливое знание, критерий валидности исследовательских пропозиций будет очень близок критерию оценки произведения искусства, сила воздействия которого, в отличие от науки, основана на непосредственном переживании и участии в повествовании.

Безусловно, в таком случае должно меняться отношение психологов к языку, которым они описывают результаты своих исследований. Как отмечает в своем знаменитом эссе «От науки к литературе» Р. Барт, одна из основополагающих особенностей отношения к языку в науке состоит в том, что для науки язык лишь орудие, и его желательно сделать как можно более прозрачным и нейтральным, поставить в зависимость от субстанции научного изложения (операций, предположений, выводов), которая считается по отношению к нему внеположной и первичной. Мы имеем, с одной стороны, и, прежде всего, содержание научного сообщения, в котором и есть вся суть, а с другой стороны, и только потом, выражающую его словесную форму, которая сама по себе ничто (1994).

Сегодня, благодаря прежде всего усилиям представителей социального конструкционизма в психологии (*см., напр., Джерджен, 2003*), не вызывает сомнения тот факт, что риторический элемент присутствует в любом сообщении, включая научное. Другое дело, что в научных кругах существует молчаливый консенсус не обсуждать особенности языка в научных публикациях: ученых интересует само «тело» исследования, а не набрасываемые на него языковые «одежды».

Сам Барт призывает ученого превратиться в писателя, заботящегося о том, чтобы читать и отправлять обряды «язычного стиля» (1994). В психологии появились работы, уделяющие значительное внимание литературным приемам создания образа (*примеры см.: Джерджен, 2003*). Безусловно, использование новых форм повествований нередко способствует раскрытию того, что пытаются выразить в своих рассказах собеседники и что представляет часть их ежедневной коммуникации. Однако и здесь мы встречаем немало примеров «текстуального радикализма», включающие в себя представления частично или полностью не отредактированных транскриптов, различные формы экспериментального письма, создание откровенного художественного вымысла. На наш взгляд, такие «сильные» формы писательского новаторства децентрируют авторство и нарушают ожидания читателя. Их вряд ли можно признать удовлетворительными, поскольку они парализуют исследовательское предприятие: в усиливающих самореференциях текста теряется сам анализируемый объект. Сохранение авторского голоса необходимо хотя бы для того, чтобы читатели сами могли оценить достоинства представленного материала. И хотя лабораторные операции и их описание далеки от феноменов, наблюдаемых в мире, нам представляется, что в них не больше экстремизма, чем в ряде постмодернистских текстов, которые интерпретируют психологические явления, исходя из такого произвольного контекста, что их связь с реальностью вообще не отыскать.

Кроме того, оговаривая возможность опоры на «молчаливое» знание, необходимо обратить внимание на то, что, как справедливо заметил в одной из своих работ П. Рикер, валидность интерпретации не может основываться только на молчаливом знании (непосредственном схватывании чужой интенции) или эмпатии (эмоциональной идентификации с ментальной интенцией) (Ricoeur, 1979). Первоначально акт понимания есть верное (или ошибочное) предположение, и не существует методов, используя которые мы научимся делать эти предположения, не существует правил порождать инсайты. Методологическая активность интерпретации начинается, когда мы приступаем к проверке и критике наших предположений. Понимание опосредовано объяснительными процедурами, которые его сопровождают. Иными словами, понимание достигается благодаря активности, посредством которой мы проверяем и критикуем наши молчаливые и эмпатические предположения. «Показать, что интерпретация более вероятна в свете того, что нам известно, не то же самое, что показать, что наш вывод истинен. В этом смысле валидизация не есть верификация. Валидизация — это аргументативная дисциплина, сравнимая с юридическими процедурами судебной интерпретации» (там же, р.90). «...процессы валидизации имеют полемический характер... Все интерпретации в области литературной критики и социальных наук могут быть оспорены и вопрос «что может разбить утверждение» — общий для всех аргументативных ситуаций. Только в ситуации суда присутствует момент, когда все процедуры апелляции оказываются исчерпанными. Происходит это потому, что решения суда поддерживаются силой общественной власти. Ни в литературной критике, ни в социальных науках такого нет. Либо, если оно есть, мы называем это насилием» (там же, р.93-94).

Эпистемологический плюрализм. «Нет единой истины, которая бы соответствовала реальности. Вместо этого существует много истин, поддерживаемых сообществами» (Polkinghorne, 1983, р.250). Однако нельзя сказать, что в перспективе подобных представлений любая иллюзия будет считаться валидной, — знание соотносится с контекстом определенного сообщества, в котором оно родилось и было проинтерпретировано.

Подобный контекстуальный релятивизм не вызывает сомнения только в том случае, если он базируется на эпистемологии, признающей контекстуальную природу истины. «Только если знание само по себе предполагает плюральность многих истин, мы можем принять множество соответствующих путей познания. Однако это отнюдь не значит, что все сказанное непременно истина, как не говорит и о том, что истина не имеет смысла. Тесная связь между истиной/заблуждением и взаимными подтверждениями, свойственными определенному сообществу, гарантирует имплицитную универсальность понятию истины. Но поскольку связь не отсылает с необходимостью к Реальности, которой должны соответствовать утверждения, то и сообщества не нуждаются в объединении мнений для того, чтобы понятие истины имело смысл» (Ogilvy, 1977, р.191).

Поскольку мы принимаем важность контекста, нет необходимости поиска единственно верного метода или ограниченного набора методов для получения валидного знания. Методов может быть много. Однако это не означает, что любой метод одинаково хорош и что методы и полученные результаты не поддаются оценке и потенциальному отвержению или принятию. Любые методологии являются парциальными. Более того, мы можем пойти дальше и сказать, что

любая парциальная методология нуждается в другой, отличной от нее, также парциальной методологии; именно благодаря столкновению и конфликту различных обогащается наше понимание (*Luoma*, 1998; *Salner*, 1989). Согласно теореме Геделя о неполноте дедуктивных систем, никакие эпистемологические допущения не могут быть оценены, исходя из них самих; для того чтобы оценить эпистемологию, мы должны выйти в метапозицию, и так до бесконечности, что говорит о невозможности достижения совершенной (окончательной) эпистемологии. Нельзя сказать, что не существует «истинной» реальности: просто реальность открывается человеку в коротких проблесках (мерцании), схватываемых в языке, что порождает конфликты интерпретаций, которые и составляют разумный человеческий дискурс (*Salner*, 1989).

Эпистемологический плюрализм требует от исследователя четкой экспликации процедуры исследования: исследователь как бы «выкладывает карты на стол», дает ясное описание того, как именно он анализировал текст. Очень ясно о подобном типе контроля пишет А. Джорджи: «Еконтроль вытекает из контекста исследователя и его взгляда на данные. Если известны контекст и намерение, то, как правило, расхождения всем понятны, даже если не все с ними соглашаются. Таким образом, основное, что надо помнить состоит не столько в том, может ли быть принята другая позиция в отношении данных (этот пункт принимается прежде всего), сколько в том, может ли читатель, принимающий точку зрения, которую защищает исследователь, увидеть то, что видел исследователь, согласен он с его мнением или нет» (*цит. по: Квале*, 2003, с.207).

«Не существует единого метода... существует множество систем вопрошания, которые исследователь может использовать. Вместо того чтобы пытаться развивать один инструмент — будь то статистические методы, экзистенциально-феноменологическое описание или что-либо еще, исследователю необходимо грамотно выбирать исследовательскую систему, соответствующую частным вопросам, на которые он или она хочет ответить... Исследователь может задавать множество вопросов... Эти увеличенные возможности накладывают на исследователя более высокую степень ответственности, требуя от него быть не просто техническим исполнителем, но методологом» (*Polkinghorne*, 1983, p.280). Методы следуют за исследовательскими вопросами, вопросы отражают цели исследования, а цели проистекают из определенных отношений, устанавливаемых исследователем с сообществом, которому адресовано исследование. В конечном счете, цепочка связей между методами и социальными целями требует от исследователя критического внимания к тому, как человеческие интересы структурируют знание.

Итак, кризис классических концепций знания, основанных на представлениях о знании как ментальной копии и результате индивидуальных усилий познающего (а именно на эти концепции опирается традиционное понимание валидности психологического исследования в контексте измерительных процедур), и глубокое осознание важности коммуникативно-дискурсивного измерения истины требуют нового «языка» для обсуждения проблемы оценки валидности в психологии. В перспективе происшедших в эпистемологии изменений, вероятно, лучше говорить об обоснованных утверждениях знания, чем о валидности *per se*. Причем обоснование знания, как мы попытались показать, требует значительно более широкого контекста, чем просто логика экспериментального исследования.

ЛИТЕРАТУРА

- Барт Р.* От науки к литературе // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. — М.: Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1994, с. 375-383.
- Бусыгина Н.П.* Научный статус качественных методов в психологии // Московский психотерапевтический журнал, 2005, №2, с. 5-29.
- Выготский Л.С.* Исторический смысл психологического кризиса // Выготский Л.С. Психология развития человека. — М: Изд-во Смысл; Изд-во Эксмо, 2003, с. 41-190.
- Гилберт Дж.Н., Малкей М.* Открывая ящик Пандоры: Социологический анализ высказываний ученых. — М.: Прогресс, 1987.
- Джерджен К.* Движение социального конструкционизма в современной психологии // Социальная психология: Саморефлексия маргинальности. Хрестоматия. — М.: ИНИОН, 1995а, с. 51-73.
- Джерджен К.* Социальная психология как история // там же, 1995б, с. 30-51.
- Джерджен К.* Социальный конструкционизм: знание и практика. Сб. статей. — Минск: Изд-во БГУ, 2003.
- Квале С.* Исследовательское интервью. — М.: Смысл, 2003.
- Левин К.* Конфликт между аристотелевским и галилеевским способами мышления в современной психологии // Психологический журнал, 1990, том 11, №5, с. 135-158.
- Лекторский В.А.* Научное и вне-научное мышление: скользящая граница // В.А. Лекторский Эпистемология классическая и неклассическая. — М.: Эдиториал УРСС, 2001, с. 38-51.
- Лиотар Ж.-Ф.* Состояние постмодерна. — М: «Институт экспериментальной социологии», СПб.: Изд-во «Алетейя», 1998.
- Пузырей А.А.* Культурно-историческая теория Л.С. Выготского и современная психология. — М: Изд-во МГУ, 1986.
- Столярова О.Е.* Социальный конструктивизм: онтологический поворот // Вестник МГУ. Серия 7. Философия, 2003, №3, с. 39-52.
- Тхостов А.Ш.* Психология телесности. — М.: Смысл, 2002.
- Фуко М.* Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. — М.: Ка-сталь, 1996.
- Фуко М.* Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы. — М.: Ad Marginem, 1999.
- Хабермас Ю.* Моральное сознание и коммуникативное действие. — СПб.: Изд-во «Наука», 2001.
- Хабермас Ю.* Философский дискурс о модерне. — М.: Изд-во «Весь мир», 2003.
- Харре Р.* Социальная эпистемология: передача знания посредством речи // Вопросы философии, 1992, №9, с. 49-60.
- Юлина Н.С.* Ричард Рорти: разговор «через эпохи», «в эпохе» и историография философии // История философии. №1. — М.: ИФРАН, 1997, с. 198-220.
- Юревич А.В.* Методологический либерализм в психологии // Вопросы психологии, 2001, №5, с. 3-18.
- Bellah R.N., Madsen R., Sullivan W.M., Swidler A., & Tipton S.M.* Habits of the heart: Individualism and commitment in American life. — Berkeley: University of California Press, 1985.
- Bruner J.* Acts of meaning. — Cambridge, MA: Harvard University Press, 1990.
- Burke K.* Language as symbolic action. — Berkeley, CA: University of California Press, 1966.
- Edwards D., Potter J.* Discursive psychology. — London: Sage, 1992.
- Flax J.* Thinking fragments: Psychoanalysis, feminism, and postmodernism in the contemporary west. — Berkeley: University of California Press, 1990.
- Giddens A.* New rules of sociological method. — London: Basic Books, 1976.
- Ogilvy J.* Many dimensional man: Decentralizing self, society, and the sacred. — New York: Oxford University Press, 1977.
- Polkinghorne D.* Changing conversations about human science // Kvale S. (Ed.) Issues of validity in human research. — Lund: Studentlitteratur, 1989, p. 13-46.

Polkinghorne D. Methodology for the human sciences. — Albany, NY: State University of New York Press, 1983.

Ricoeur P. The model of the text: Meaningful action considered as a text // Rabinow P., Sullivan W.M. (Eds.) Interpretive social science: A reader. — Berkeley: University of California Press, 1979, p. 73-101.

Riger S. Epistemological debates, feminist voices: Science, social values, and the study of women // American Psychologist, 1992, vol.47, p. 730-740.

Salner M. Validity in human science research // Kvale S. (Ed.) Issues of validity in human research. — Lund: Studentlitteratur, 1989, p. 47-71.

Sampson E.E. Identity politics: Challenges to psychology's understanding // American Psychologist, 1992, vol.48, p. 1219-1230.

Schwartz T., White G.M., & Lutz C.A. (Eds.) New directions in psychological anthropology. — Cambridge, England: Cambridge university Press, 1992.

Stich S. From folk psychology to cognitive science. — Cambridge: Mass, 1983.

Tavris C. The mismeasure of woman. — New York: Touchstone/Simon & Schuster, 1992.